

Дебаты о народности¹

Андрей Тесля*

Аннотация. В обзоре анализируется процесс формирования русского национализма: конкурирующие подходы к пониманию «нации» и «народности», трансформация последних в зависимости от меняющегося внутри- и внешнеполитического контекста. Особенное внимание уделяется «проблемным пунктам» русского национализма, формирующегося в условиях конкуренции с уже существующими или начавшими формироваться параллельно национальными программами. Напряжение, существующее между русским национализмом и империей, мыслится основным фактором, обуславливающим историческую динамику понимания «нации» в русской общественной мысли националистического направления.

Ключевые слова. Империя, нация, народность, славянофильство.

Данное эссе не претендует на раскрытие истории «русского национализма» (менее привычно, но точнее было бы говорить о «русских национализмах» во множественном числе — и в исторической последовательности, и в синхронии) — моя задача попытаться обрисовать общие контуры феномена. Поскольку всякую подобную попытку можно назвать, в силу масштаба задачи, «покушением с негодными средствами», то необходимо оговорить принципиальные установки, долженствующие скорректировать интерпретацию нижеследующего текста.

Сущность «новой имперской истории» сторонники данного подхода описывают так: она «посвящена изучению империи не как „вещи“, формальной структуры власти или экономической эксплуатации, а как „имперской ситуации“. Для нее характерно не просто крайнее разнообразие общества и разношерстность населения, но принципиальная несводимость этого разнообразия к какой-то единой системе» (Империя и нация, 2011: 8–9). С тем же правом это применительно и к процессам нациестроительства; варианты видения «нации» и споры вокруг нее, государственная политика и общественное мнение — «ситуация», в которой разворачиваются действия многочисленных субъектов. Результат их действий зачастую имеет мало общего с намерениями как инициаторов, так и оппонентов — русский(е) национализм(ы) формируются в сложной ситуации одновременного взаимодействия с активно трансформирующейся в XIX веке империей, национальными движениями в других странах (на эти зарубежные национализмы постоянно оглядываются как империя, так и национальные движения внутри ее), местными национальными движениями.

* Тесля Андрей Александрович — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета. Email: mestr81@gmail.com

1. Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации (№ МК-1649.2011.6). Тема: «Национальное самосознание в публицистике поздних славянофилов».

Первоначальный вариант статьи опубликован в электронном издании «Русский журнал» (www.russ.ru) под редакционным заглавием «Учение о народности».

Если тезис о конструктивном характере «нации» стал общим местом в исследованиях национализма, то в исследованиях, связанных с вопросами «русского национализма», последний зачастую предстает как феномен государственной политики, преимущественно на «окраинах» империи. Нередко недостаточно обдуманно используется введенный Б. Андресоном образ нации как «воображаемого сообщества», однако в этом смысле любое сообщество будет «воображаемым», обретающим реальность только в сознании составляющих его индивидов или внешних наблюдателей. Андерсон вкладывает в свой образ значительно более сильное утверждение — «нация» «воображается», создается усилиями какой-либо группы, и затем этот образ транслируется, утверждается, испытывая соответствующие трансформации.

Субъектами в большинстве исследований оказываются, с одной стороны, имперская администрация, как правило, слабо дифференцированная и выступающая в качестве абстрактной «власти»², а с другой стороны — местные («инонациональные», «инонародные») сообщества, реагирующие или активно воздействующие на государственную политику (этот аспект затрагивается существенно реже). Даже в революционной для отечественной историографии работе Алексея Миллера (Миллер, 2006) преобладает взгляд «сверху» — выпадает из рассмотрения та среда, те группы, в которых формируются «образы нации», которые конкурируют за общественное влияние и за возможность влиять на национальную политику Российской империи.

В результате произошел «явный перекоп в сторону изучения сообществ, механизмов и дискурсов управления, конфессиональных и прочих идентичностей пограничья, в то время как „русские“ и „центр“ (за некоторыми важными исключениями) оказались за кулисами данного действия... Соответственно, в историографии империи есть „нерусские“ народы, а „русские“ в качестве подданных, а не абстрактных не-инородцев так и не появились. Аналитики социогуманитарных исследований признают, что „центр“ и „русский вопрос“ как самостоятельные проблемы приме-

2. Яркое исключение в историографии последних лет — работа М. Долбилова (Долбилов, 2010), в которой рассматривается этноконфессиональная политика в северо-западных губерниях в эпоху «великих реформ». Если привычно имперская политика видится из центра, а историк пытается ухватить «генеральную линию», то Долбилова интересует практика реализации этих государственных решений «на месте»: например, насколько на фактически проводимую политику влияли взгляды местных чиновников, как ими понимались и применялись имперские решения, какие последствия имели последние применительно к реальным условиям, далеко не всегда адекватно представляемым правительством. Местная бюрократия, епископат и священство, дворянство северо-западных губерний — не пассивные орудия или объекты управления, но также субъекты, влияющие на политику, использующие зачастую довольно сложные стратегии — например, через формирование общественного мнения посредством корреспонденций в общероссийские издания, через неформальные контакты и т. п. Политика веротерпимости рассматривается как ограниченный ресурс — когда терпимость к одной конфессии может расцениваться как агрессивные действия в отношении иной и империи приходится соблюдать сложный конфессиональный баланс, существенно отличающийся от принятых ею же идеологических установок. Когда меры против католичества так и остаются локальными по той причине, что для имперской администрации неприемлемо опираться на низовое движение против иерархии, подрывая сложившуюся властную систему, невозможна масштабная политика покровительства православию, поскольку она одновременно бы означала расшатывание социальной иерархии, в которой православию отведено место «простонародной веры», а действия против католичества интерпретируются населением как действия против социальных верхов (в рамках идеи «народного царя»).

нительно к истории Российской империи сейчас почти не изучаются» (Вишленкова, 2011: 11). Русский национализм носил не только реактивный, но и активный характер — интеллектуальные и общественные движения, его составляющие, во многом определяли условия действия имперской власти, в свою очередь, разнообразно использовавшей эти общественные силы: опыт включения русского национализма в имперскую повестку, попытки трансформировать достаточно архаичную империю в империю, опирающуюся на оформленное «национальное ядро», был решающим для ситуации 1880–1890-х годов. Пытаясь обрести новую опору в русском национализме, империя провоцировала конфликты с иными наличествующими или формирующимися национальными движениями, и в то же время лишала себя большинства традиционных средств их разрешения. Русский национализм нес в себе изначальный конфликт, будучи национализмом «имперской нации», определяющей себя по отношению к империи через отождествление с ней и одновременно через растожествление: долженствующий скрепить империю через нового субъекта — нацию, он разрывал империю через выделение тех или иных элементов, не способных (сейчас или принципиально) стать частью нации.

«Нация» и «народность» в их переплетении

История слов нередко способна рассказать больше, чем традиционное историческое повествование — в особенности в тех случаях, когда слова означают избыточно много и тексты, отстоящие друг от друга на несколько десятилетий, внешне говорящие об одном и том же, при достаточном приближении к предмету оказываются объединенными лишь на уровне слов.

Спорить о «нации» и звать к ней начинают в первые десятилетия XIX века — в эпоху революции и наполеоновских войн, в период, который для нашего взора зачастую разделяется цезурой «неизвестных и непонятных событий» между Термидором и Брюмером, но который для современников (особенно тех, кто наблюдал его из петербургского или московского отдаления) был единой «Революцией». «Нация» в этих разговорах — это гражданская нация, тот самый «народ» в другой фразеологии, являющийся сувереном, единственным источником власти. Впрочем, эта «нация», под которой подразумевается нация политическая, обладающая субъектностью, оказывается едва ли не с самого начала переплетена с «нацией» романтиков — не той, которую надлежит создать через Учредительное собрание, но уже данной в истории, для которой время политическое — лишь момент проявления. Сергей Глинка на европейский манер будет настаивать в «Русском Вестнике» в конце 1800-х — начале 1810-х на том, что русским надлежит быть русскими, т. е. подобно другим европейцам быть собой, а не подражать кому-либо. Аналогичным образом декабрист Михаил Орлов будет по-французски настаивать на необходимости воспитывать детей русского дворянства в любви к отечеству, родному языку и культуре (Парсамов, 2010).

Политическое напряжение, чувствительное для власти в самом слове «нация», приведет в 20-е годы к его вытеснению из печати, на смену ему придет «народность», удобная своей размытостью. Алексей Миллер, анализируя историю понятий «нация» и «народность» в первой половине XIX века, отмечает: «В 1820-е годы в имперских

элитах постепенно растет настороженность, и с начала 1830-х годов оформляется ясно выраженное стремление вытеснить понятие *нация* и заместить его понятием *народность*. С помощью этой операции надеялись редактировать содержание понятия, маргинализировать его революционный потенциал» (Imperium inter pares, 2010: 60).

Опережая уваровскую формулу, в журналистике 20-х начнутся «споры о народности» с противопоставлением «народности» и «простонародности», где «народность» будут определять через «верность духу народа», а не те или иные конкретные исторические формы. Народность оказывается и искомым, и повсеместно присутствующим, тем, что возможно «почувствовать», но затруднительно определить — неким «пустым местом», позволяющим наделять его необходимыми смыслами. Уже в Манифесте от 13 июля 1826 года, опубликованном после завершения суда над декабристами, присутствует знаковый смысловой поворот: «Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на *природных свойствах народа* (выделено мной. — А.Т.)³, где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злоумышленных... Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления».

Декабристское же восстание интерпретируется в Манифесте в рамках типичного для романтизма противопоставления «истинного» и «ложного» просвещения: «Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздности телесных сил, — недостатку твердых познаний должно приписать то своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель».

Только что созданное III Отделение в отчете за 1827 год пугает власть «русской партией»: «Молодежь, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маской русского патриотизма... Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения» (Россия под надзором, 2006: 22).

Уваров, получивший в 1830-е годы *carte blanche* на идеологию, предпримет амбициозную попытку «перехвата» романтических учений о «народности», выросших в

3. Сходна риторика во Всеподданнейшем отчете III Отделения за 1837 год: «Безусловная любовь и неограниченная преданность к Царю принадлежат, так сказать, к природе русского народа (выделено мной. — А.Т.), и чувства сии при всяком случае, прямо от лица Государя или до Царственного Его Семейства относящиеся, разительно обнаруживаются» (Россия под надзором, 2006: 156).

Другой пример (из отчета за 1845 г.): «Надобно желать одного, чтобы при этом стремлении дел русские не переняли европейской порчи нравов, сохранили свою народность и остались навсегда, по примеру праотцев своих, преданными своей Вере, своим Государям и Отечеству» (Россия под надзором, 2006: 376).

атмосфере «освободительной войны» в Германии (1813)⁴. В русских условиях «народности» нет нужды создавать политического субъекта — восстанавливать германский Рейх — поскольку этот субъект уже наличествует в лице Российской империи. Как раз напротив, возможные оппоненты власти — среднее дворянство, почувствовавшее свою силу и обретшее корпоративное сознание в краткий период наполеоновских войн, — оказываются в ситуации, когда возможная риторика «народности» взята уже на вооружение власти, опирающейся в этом одновременно на формирующуюся бюрократию и мещанство. Идеологическая конструкция, предложенная Уваровым, имеет, однако, фундаментальную слабость — она принципиально предполагает ограниченную и закрытую аудиторию, к которой обращена, — условно говоря, те поднимающиеся социальные группы, которые проходят через русские гимназии и университеты, где они должны подвергнуться «обработке» в духе «официальной народности», читатели русскоязычной прессы, плотно контролируемой Министерством просвещения (Зорин, 2004: гл. X). Но эта же идеологическая конструкция не может включить в свои рамки ни западные окраины империи (Остзейские губернии и Царство Польское), она не может быть артикулирована как «собственная речь» высшими правящими кругами империи — принципиально вненациональными, чья идеология остается идеологией династической преданности, когда местные аристократии заключают договор о преданности империи, но отнюдь не «русской народности».

Впечатанная в уваровскую формулу «народность» станет «неопределенным третьим», обретающим осмысленность через два первых члена — «православие» и «самодержавие», придавая им флер исторической глубины и «органичности». В циркуляре Министерства народного просвещения от 27 мая 1847 года разъяснялось, что «русская народность» «в чистоте своей должна выражать безусловную приверженность к православию и самодержавию», а «все, что выходит из этих пределов, есть примесь чуждых понятий, игра фантазии или личина, под которою злоумышленные стараются уловить неопытность и увлеченность мечтателей» (Лемке, 1904: 190). Быть православным, «без лести преданным» подданным своего монарха, — вот, собственно, к чему сводится «народность» в практическом истолковании, и отсюда же возникает внешне парадоксальная ситуация, когда все добровольные истолкователи «народности», начиная с Погодина, оказываются неудобными для власти. Единственное правильное здесь — воздерживаться от любой интерпретации, повторяя «народность» как мантру и используя обвинение в «ненародности» против тех, кто уже и так помечен в качестве политического противника.

Империя в 1830–1840-е стремится задействовать потенциал возможного «национального направления», но практическая реализация ограничена «русским стилем» К.А. Тона, сосуществующим с псевдоготическими постройками петергофской Александрии. Важны не отсылки к конкретному прошлому, а к прошлому как таковому. В подкладке существенное содержание ограничивается легитимизмом постнаполео-

4. В отчете «Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 гг.» Уваров писал: «Слово „народность“ возбуждало в недоброжелателях чувство неприязненное за смелое утверждение, что министерство считало Россию возмужалою и достойною идти не позади, а по крайней мере рядом с прочими европейскими национальностями» (цит. по: Лемке, 1904: 189).

новской эпохи: «народность» должна, в противоположность «нации», оставаться пустым местом, быть фиксацией политической бессубъектности⁵.

Программы нациестроительства 1860-х годов

Кризис империи 1850-х годов, внешним проявлением которого стало поражение в Крымской войне⁶, привел к осознанному выбору в пользу кардинальных реформ и одновременной либерализации режима. Последняя вывела наружу все те процессы, которые с разной степенью интенсивности развивались под стремящимся к единообразию имперским фасадом. На повестку дня стал национальный вопрос: подобно тому, как восстание 1830–1831 годов заставило считаться с национализмом и попытаться аккумулировать и одновременно нейтрализовать патриотические настроения, выдвинув доктрину «официальной народности», либерализация второй половины 50-х — начала 60-х проявила целый ряд сформировавшихся или находящихся в процессе формирования национальных течений.

Вплоть до 1863 года рост подобных периферийных национализмов особенно-го беспокойства не вызывал — будущий «столп» русского национализма Катков охотно помогал украинофилу Костомарову в «Русском Вестнике», а редакция славянофильского журнала «Русская Беседа» старалась угодить лидеру тогдашнего украинофильства Кулишу, добываясь его повестей для своего издания. «Польское дело» оказывалось в «области умолчания» — выступать против поляков было немыслимо, активно поддерживать их — равно невозможно, поскольку это означало бы поддержку притязаний к отделению от империи. Неопределенные либерально-демократи-

5. В 1860-е годы во многом усилиями М.Н. Каткова будет произведена, как отмечает А.И. Миллер, «„перезагрузка“ понятия *народность*, которое снова становится синонимом *нации*» (Imperium inter pares, 2010: 61). Однако различающиеся «шлейфы» смыслов данные термины сохраняли в русском консервативном и националистическом дискурсах и в начале XX века. Как подчеркивает И.В. Омелянчук, «в своих трудах правые чаще использовали термин „народность“; лишь Л.А. Тихомиров да М.О. Меньшиков употребляли (sic! — А.Т.) категорию „нация“. Но предикатом субъекта „народность“ в трудах монархистов являлось слово „национальный“, а отнюдь не „народный“... В основном правые под термином „народность“ все же понимали нацию, но не как политическую или этническую общность, а как культурно-конфессиональное объединение с открытыми границами... Но большинство монархистов исходили из противопоставления понятий „нация“ и „народность“» (цит. по: Тюремная одиссея, 2010: 18–19).

6. Фактически империя оказалась в относительном тупике уже к началу 40-х годов: реформы, стоявшие на повестке во второй половине 20-х, были частично проведены (систематизация законодательства, становление профессиональной бюрократии, регулирование статуса государственных крестьян и т. п.), а остальные либо были отложены, либо выхолащивались до символических жестов. Характерно одно физическое старение правительства — уже современники отмечали разницу между «первым» и «вторым» «николаевским призывом». В «первый» на высшие правительственные должности пришли люди, сформировавшиеся в александровскую эпоху и при всех личных особенностях в целом отмеченные достаточно яркой индивидуальностью и способностью отстаивать и проводить свои взгляды (Бенкендорф, Блудов, Воронцов, Дашков, Киселев; Канкрин хоть и получил пост министра финансов еще при Александре I, но максимального влияния достиг именно при Николае I). Для «второго» символическими фигурами стали Клейнмихель и Вронченко, когда главными достоинствами оказались исполнительность и послушность.

ческие стремления разной степени радикальности были всеобщими — от прежних лозунгов и идеологических символов отказались, новые так и не были определены. Стремление к реформам и преобразованиям было всеобщим, прежний имперский патриотизм был разрушен в обществе катастрофой конца николаевского царствования, новые политические ценности и смыслы оставались неопределенными.

1863 год стал решающим в истории русского национализма — январское восстание в Польше стимулировало формирование национального самосознания. Если выступать против польского национального движения русское образованное общество было не готово, то претензии польского восстания на создание Речи Посполитой в границах до 1772 года, действия повстанцев на территории юго-западного и северо-западного краев способствовали возникновению «оборонительного национализма» в ответ на угрозу, формированию первичной политической национальной идентичности в ответ на возможность утраты территорий, воспринимавшихся как часть «России». Катков, посреди почти абсолютного молчания в русской журналистике, решительно выступил против восставших — и оказался голосом «безмолвствующего большинства». Провозглашая ценность государства, поддерживая позицию целостности империи и борьбу с повстанцами, он впервые употреблял слова, которым ранее не было места в русской журналистике: национализм и государственничество за пределами официоза. Это было открытие «общественного мнения»: внезапно для всех — для власти и оппозиции — обнаружилось, что в стране есть общество, и сила Каткова состояла в его способности в эти годы явиться его выразителем и направителем. Катков заговорил от лица нации — не оформленной, но уже переставшей быть исключительно объектом управления, обретающей собственную субъектность. И если на первых порах это движение встретило поддержку со стороны имперской власти, поскольку оказалось необходимой опорой в ситуации внешне- и внутривнутриполитического кризиса, то вскоре противоречия стали быстро нарастать в силу понятной невозможности «управлять» обществом, не вступая с ним в диалог, используя исключительно «в меру надобности»⁷.

Польское восстание привело к оформлению нескольких ключевых политических позиций по национальному вопросу, претендовавших на возможность реального осуществления в государственной политике:

1. Катковская программа, предполагавшая в качестве определяющего признака нации «культуру» и ориентированное на французский опыт нациестроительство. Применительно к «польскому вопросу» это означало господство принципа *Realpolitik* — удержание Польши под своей властью, поскольку любое другое решение приводило бы к еще большим политическим издержкам (возникновение независимой Польши с территориальными притязаниями на земли Укра-

7. А.И. Миллер, акцентируя социальный аспект, пишет, что Катков «стремился сделать, по крайней мере условную, лояльность режиму составной частью национальной идеологии. Однако для властей, весьма ценивших редактора „Московских ведомостей“, даже такой его национализм был частью „страсти к оплебейанию России“. Чем дальше он развивал свои националистические идеи, тем регулярнее власти натягивали цензурные вожжи» (Миллер, 2000: 148); «Начальник III отделения П.А. Шувалов прямо обвинял Каткова в стремлении „возбуждать и поддерживать беспорядки в окраинах империи“, имея в виду его русификаторский пафос» (Миллер, 2000: 148, прим. 35).

ины и Белоруссии). Русские в этой перспективе мыслились как «имперская нация», открытая по культурному принципу и проводящая активную политику ассимиляции иных национальных групп. Трансформация империи предполагалась как создание национальной метрополии — с имперской политикой в отношении окраин: политика «гегемонии» в отношении Финляндии и Польши и колониционной политикой в отношении «восточных» и «южных» колоний (Тесля, 2011а).

2. Славянофильская программа, предполагавшая трансформацию империи с образованием «национального ядра» по типу национального государства на конфессиональной основе («русский — в первую очередь православный»), что требовало этноконфессиональной демаркации. Для упрочнения национального состава в отношении Польши цель мыслилась как образование Польского государства «в этнических границах», а на территориях, бывших предметом спора, «укрепление» (т.е. создание) общерусской («русской») идентичности (Тесля, 2011б).
3. «Валуевская» программа, выраженная в докладных записках и конкретных действиях министра внутренних дел. Она предполагала ставку на «политическую нацию» (в терминологии конца XVIII — начала XIX века), т.е. компромисс между аристократическими элитами, и наднациональную политику — инкорпорацию «западных окраин» путем предоставления политических прав (образование единого политического пространства, совпадающего с границами империи).

Каждая из этих программ достаточно отчетливо фиксировала тот социальный слой, на который она опиралась. Это и делало «проекты будущего» если и не в равной мере реалистичными, то во всяком случае предполагавшими конкретные политические программы ближайших десятилетий. «Валуевский» проект был ставкой на плавную трансформацию империи, в которой высшее правительство покупало поддержку местных элит, давая им доступ к политической власти в центре посредством создания ограниченной представительной системы. Иначе говоря, на смену прежней политики управления на местах посредством местных элит и личного инкорпорирования в центральное правительство предполагалось допустить групповое инкорпорирование с возможностью дальнейшего понижения планки представительства — по мере того как все новые социальные группы оказывались бы вовлечены в публичную политику (Захарова, 2011: 400–410).

«Катковский» проект, в отличие от «валуевского», делавшего ставку на высшую аристократию и буржуазию, был ориентирован на буржуазию и средние слои общества. Он предлагал формирование нации современного типа, взаимодействующей с традиционными имперскими группами через систему представительства, построенную на имущественном цензе.

«Славянофильская» же программа мыслилась как трансформация традиционного общества — со ставкой на демократизм (в противовес элитарному катковскому либерализму), где центральная власть должна была взять на себя роль инициатора реформ, сохраняя свой неограниченный характер с широкими полномочиями низовых общин. Предполагалось конституирование нации через апелляцию к традицион-

ным конфессиональным признакам, когда прежняя «внешняя» конфессиональность трансформируется в осознанную идентичность на основе современного типа религиозности.

В качестве своеобразного промежуточного варианта между «катковским» и «славянофильским» проектами выступало «почвенничество», делавшее ставку не на крестьянство и дворянство, а на средние слои общества с принятием в качестве основополагающего конфессионального критерия.

Напряженность ситуации и рост местных национализмов объясняют готовность центральной власти обсуждать и отчасти даже следовать подобным программам, что проявилось в политике в Северо-Западном крае в 1863–1868 годах. Однако по мере того как кризисная ситуация миновала и с проблемами удавалось справиться без привлечения общества, готовность императорской власти следовать национальной политике в любом из двух основных ее вариантов («катковском» и «славянофильском») уменьшалась — отдельные принятые меры так и оставались эпизодическими акциями, причем преобладали действия репрессивного плана (Комзолова, 2005). Помимо прочего, для позитивной национальной политики не хватало ресурсов и сознательной политической воли. Тем не менее нежелание императорской власти двигаться по пути националистической политики имело вполне глубокие рациональные основания. Как неоднократно отмечал Александр II, главным препятствием к дарованию какой бы то ни было конституции было сомнение в возможности при конституционном правлении сохранить империю. Центральная власть прибегала к политике промедления, реагируя на сиюминутные проблемы и противодействуя в той или иной степени на протяжении первой половины 1860-х — начала 1870-х годов как периферийным национализмам, так и различным вариантам русских национальных движений.

Проблемные пункты русского национализма

Русский национализм формировался в 1860–1870-е годы в ситуации активного противоборства и внутренней полемики не только, а зачастую и не столько с традиционным имперским проектом, сколько в столкновениях по нескольким основным проблемным пунктам, где состав противоборствующих сторон и их программы были сложны, разнообразны и не сводились к простым схемам. Постараемся выделить основные.

1. «Польский вопрос». Польша была «больным местом» Российской империи — Царство Польское, созданное на основе Великого герцогства Варшавского по решению Венского конгресса, оказалось самым вредным по последствиям приобретением. Причем винить в данном случае империи приходилось только саму себя — даже официальное название территории, возрождавшее призрак самостоятельной польской государственности, было выбрано по настоянию императора Александра I (Австрия и Пруссия, другие участники разделов Речи Посполитой всячески стремились отговорить Россию от подобного решения). Новообразование получило собственную конституцию (что вызвало взрыв негодования в русском обществе — начиная от крайних традиционалистов вроде Шишкова и заканчивая крайним либералом кня-

зем Вяземским), собственную армию (которая стала ядром восстания 1830 году), самостоятельную финансовую систему и т. д. Императорское правительство обсуждало планы расширения территории Царства за счет передачи ряда губерний, вошедших в состав империи по результатам III раздела. Отметим попутно, что возмущение «польской политикой» Александра I было важным моментом в формировании декабристского движения, для которого существенна националистическая составляющая (на тот момент достаточно слабо внутренне дифференцированная).

Польское восстание 1830–1831 годов, во внутрироссийской политике приведшее к повороту к «народности» в стремлении опереться на патриотические общественные чувства, было подавлено военной силой, но не решено политически. Установившийся в Царстве Польском режим военной диктатуры в наместничество Паскевича фактически явился признанием неспособности решить «польский вопрос»: империя действовала в отношении Царства непоследовательно, рассматривая его то как оккупированную территорию, то как автономное образование, имеющее свои квазиконституционные права (например, в финансовой области). Поляки подвергались дискриминации на территории Царства, для них были закрыты многие государственные должности, был ликвидирован Варшавский университет, однако в то же время польские выходцы активно назначались на государственные должности на иных территориях империи — по мнению центральных властей, это должно было вести к «обрусению» поляков, позволяя, с одной стороны, в условиях кадрового голода решать проблему замещения чиновничьих мест квалифицированными людьми, а с другой — нейтрализовать «вредные тенденции», присутствующие в польских образованных классах (в том числе за счет территориального размывания представителей этих классов).

Испробованная в «эпоху» маркиза Велёпольского либеральная политика в отношении Польши привела лишь к январскому восстанию 1863 года, поставившему империю на грань дипломатической катастрофы и общеевропейской войны (по крайней мере, так ситуация представлялась на тот момент из Петербурга). Кризисная ситуация открыла возможность для нестандартных мер — под руководством Н.А. Милютина империя решилась затронуть социальный баланс в Польше, проведя крестьянскую реформу с огромными преференциями для местного крестьянства. Получив его себе в союзники, империя лишила этого союзника шляхту (и тем самым на долгое время обессилила антирусские настроения в Польше) и одновременно открыла польскую экономику для немецких (пруссских) капиталов, ослабляя польских промышленников и сельских хозяев.

Однако все эти — тактически весьма эффективные — меры не могли решить ключевую проблему. В состав империи входило национальное образование, чей культурный и экономический уровень значительно превышал соответствующий уровень метрополии и, что не менее важно, где существовало развитое национальное движение. Собственно, в ответ на вызов последнего и стало формироваться широкое русское национальное движение, поддержанное имперской властью. Было очевидно, что в северо-западных губерниях недостаточно противопоставить полякам, являвшимся там культурно и экономически преобладающими элементами, русскую администрацию. Проблема, с которой столкнулся формирующийся русский национализм,

состояла в том, что ему мало что было противопоставить польскому. Как отмечал И.С. Аксаков (и в чем с ним, пусть и более чем неохотно, вынужден был по существу соглашаться М.Н. Катков), польская культура в этих губерниях оказывалась синонимом культуры как таковой, сильная не только сама собой, но и тем, что выступала «местной формой» культуры европейской. Повышение социального статуса означало одновременно и сближение с польской культурой. Фиксация слабости русской культуры побуждала, с одной стороны, русский национализм к осознанию своих внутренних проблем, с другой — к разработке изоциренных программ (взаимодействия административных и культурных мер, одновременного вытеснения поляков из края и расширения в нем русской культуры, попыткам разорвать связь между католичеством и польским национальным движением через введение богослужения на русском и литовском языках).

Собственно «польский вопрос» оказывался тупиком во взаимодействии русского национализма с империей, равно как и её основной проблемой.

Во-первых, русский национализм не имел никакого приемлемого рецепта сохранения Царства Польского в составе империи — наиболее последовательной, но практически неосуществимой оставалась программа И.С. Аксакова, предполагавшая принудительное ограничение Польши ее «этнографическими границами» и «развод» с империей»

Во-вторых, традиционные методы имперского господства не срабатывали в Польше: приобретенная по Венскому конгрессу, она оказывалась более развитой по сравнению с метрополией, но в то же время слишком крупным целым, чтобы исчезли все надежды на возможность самостоятельного существования. Она не могла функционировать по модели «анклава», наподобие Остзейских губерний, и равным образом не могла быть русифицирована, оставаясь постоянным источником скрытой или явной угрозы для империи вплоть до Первой мировой.

2. Украинифильство. С «украинским вопросом» ситуация выглядела куда более оптимистично, чем с «польским»: если в последнем случае приходилось иметь дело с развитым и оформленным национальным движением, то на Украине речь шла преимущественно о «культурном национализме», причем находящемся на первой стадии своего развития — интеллигентской кружковщине.

Логика действий, которые необходимо предпринять, была вполне очевидна для части высшей администрации, ориентированной на опыт западноевропейского нацистроительства. Местный национализм нужно было лишить местной базы, через посредство системы начального и среднего обучения, привнесение «великорусской» культуры: крестьянство, сохраняющее местную культуру, должно было по мере получения образования втягиваться в культуру великорусскую, всякое продвижение по социальной иерархии (училища, классические, реальные и военные гимназии, университет) должно было сопровождаться усвоением великорусской культуры. Тем самым местный культурный национализм должен был утратить свою базу — перехваченные более развитой городской русскоязычной культурой, поднимающиеся социальные слои выбывали бы из числа потенциальных сторонников украинифильства, русский язык как язык управления, культуры, образования и развлечений оказывался бы безальтернативным.

Однако подобная логика (сознательно ориентированная, в частности, на унифицированную школьную политику III Республики) сталкивалась с двумя трудностями:

— во-первых, противостояние в юго-западном крае было не между «великорусской» и «украинской» культурой — там присутствовал третий, польский элемент. Опасения, вызванные польскими притязаниями (вооруженно заявленными в 1830–1831 и 1863 годах), приводили к тому, что центральная власть готова была идти на компромиссы в отношении украинских националистических движений, воспринимая некоторых из них как возможных союзников в борьбе с польским влиянием⁸; в борьбе за культурное преобладание и «великорусская», и польская стороны рассматривали разнообразные направления украинофилов как потенциальных союзников, что приводило к противоречиям в имперской политике, репрессивные меры сменялись «послаблениями», в результате не столько противодействуя, сколько раздражая и консолидируя оппонентов власти;

— во-вторых, если желательная политика представлялась вполне отчетливо, то куда больше сомнений вызывала способность власти ее проводить. И министр внутренних дел П.А. Валуев (1861–1868), и генерал-губернатор юго-западного края кн. А.М. Дондуков-Корсаков (1869–1878) скептически отзываясь об имперской политике на Украине, указывали, что на практике у империи хватит сил на отдельные репрессивные меры, но последние сами по себе бесплодны, а рассчитывать на долговременную позитивную программу не приходится как по недостатку средств (например, на развитие начального образования на великорусском языке), так и по недостатку государственной воли. Хорошо знакомые с практикой имперского управления, они полагали, что фактически не приходится надеяться на политику, выходящую за пределы реактивной схемы (Миллер, 2000: гл. 7).

3. «Остзейский вопрос» традиционно занимал большое место в русской националистической риторике, поскольку остзейское рыцарство с XVIII века было одним из основных поставщиков кадров в высшую русскую администрацию, а его культурный уровень, связи и групповая сплоченность, вместе с очевидной инокультурностью, делали его роль заметной и раздражающей.

Российская империя и в XVIII веке продолжала расширяться, используя традиционную модель соглашения с местными элитами — они сохраняли свое прежнее положение и получали более или менее широкий доступ в центральную администрацию, а взамен этого платили лояльностью. Особенностью «остзейцев» было то, что в их услугах центральная администрация была заинтересована в большей степени, чем в привлечении к центральному управлению каких бы то ни было других групп. По мере же того как традиционная домодерная империя входила в условиях модерной политики, данная модель вызывала все большее раздражение в русских элитах, полагавших себя в сравнении с остзейцами обделенными (можно вспомнить хотя бы хрестоматийное обращение Ермолова, просившего у государя «сделать его немцем»).

Специфика остзейской ситуации заключалась и в том, что правящая элита была инокультурна большинству населения провинций — она не могла на него опереться,

8. Например, целый ряд деятелей украинофильского движения (в частности, Кулиш) были взяты на государственную службу и командированы в Польшу в 1864–1865 гг.: опасные на Украине, они считались полезными в борьбе с поляками (Шенрок, 1901).

а использовала его как ресурс давления на власть, в связи с чем основным источником силы «остзейцев» становилось их уникальное положение в государственном аппарате. Они получали право на почти бесконтрольное управление губерниями в обмен на династическую преданность — империя использовала их как идеальных имперских администраторов, преданных правительству как таковому. Собственно, проблемы стали нарастать с активизацией германского политического национализма⁹ — по мере того как складывался и набирал силу Второй рейх, остзейские подданные становились все менее удобными, поскольку теперь (в отличие от ситуации «Германия как географическое понятие») их лояльность оказалась разделенной. Некоторое время ситуация оставалась относительно стабильной, но уже с конца 1870-х годов, после того как союз с Германией оказался под вопросом, а тем более со смены в 1880-е внешнеполитической ориентации на союз с Францией, императорское правительство начинает все активнее поддерживать «русификаторские» настроения, а затем и активно проводить их на практике.

4. «Славянский вопрос». Во внешнеполитическом плане русский национализм 1860–1870-х годов предлагал на первый взгляд весьма соблазнительную трансформацию традиционной имперской повестки — «южный проект» превращался в славяно-православный, одновременно предполагающий возможность обращения его как против Османской империи, так и потенциальное использование против Австрии¹⁰.

Восточное направление русской внешней политики XVIII — первой половины XIX века традиционно имело ярко выраженную конфессиональную составляющую, для нее была привычна идея использовать симпатии единоверцев против Османской империи (Зорин, 2004: гл. I; Проскурина, 2006). Напротив, «панславистские» идеи вызывали по меньшей мере настороженность; не только славянофилы, такие как Ф.В. Чижов или И.С. Аксаков, но и лояльный М.П. Погодин в этом отношении воспринимались с подозрением — Чижов был арестован после поездки по славянским землям и допрашивается о связях со славянами (Пирожкова, 1997: 96), с Аксакова при заключении в Петропавловской крепости в 1849 году брали показания о панславистских идеях (Аксаков, 1988: 505–506) — «славянский вопрос» в то время выглядел привлекательным скорее для революционных проектов, таким он был в глазах М.А. Бакунина (Борисёнок, 2001).

9. Предыдущие обострения ситуации, в первую очередь в 1840-е годы, были связаны с принципиально иными процессами — со стремлением империи к унификации управления и ликвидации местных, или по крайней мере сокращению местных изъятий. Так, в частности, в западных губерниях в 30-е годы в результате систематизации гражданского права и городского управления было практически прекращено действие Литовского статуса (нормы которого сохранились лишь в нескольких изъятиях, вошедших в состав т. X СЗ РИ) и Магдебургского городского права. Аналогичные меры были приняты и в отношении Остзейских провинций, но там они встретили решительное сопротивление, в результате императорское правительство, официально заявив о неизменности своей позиции и несколько раз подтвердив ее, на практике было вынуждено отказаться от большинства преобразований.

10. В свою очередь, чешские националисты использовали данную возможность аналогичным образом — в 1867 году, после провала соглашения с Веной (которая предпочла компромисс в Будапештом), Ф. Палацкий и Ф.Л. Ригер вместе с рядом других деятелей «чешского национального возрождения» демонстративно приняли участие в Славянском съезде в Москве (Яси, 2011: 139).

Неудача в Крымской войне, утрата влияния в Османской империи и одновременное превращение Австрии из союзника в потенциального противника, а в текущий момент как минимум в конкурента на Балканах, привели к тому, что для империи оказалось перспективным попытаться использовать национальные движения западных и южных славян в своих интересах. Речь шла не о радикальном повороте политики, но скорее о рассмотрении возможности использовать славянские движения как один из инструментов внешней политики — в частности, в 1860 году благодаря покровительству Министерства иностранных дел И. Аксаков основывает газету «Парус», по планам издателя, поддержанным в министерстве, долженствовавшую широко освещать славянские дела и распространяться в «славянских землях». Газета была закрыта по цензурным причинам уже после выхода второго номера — однако МИД, недовольный эффектом, попытался добиться продолжения издания под другим именем и редакторством, а когда эта попытка окончилась неудачей, славянский отдел был открыт в официальных «Санкт-Петербургских Ведомостях». Когда осенью 1861 году Аксаков предпринял издание новой еженедельной газеты «День», вновь с обширным славянским отделом, МИД оказал ему поддержку, а внешнеполитический пропагандистский эффект издания отчасти способствовал обходить цензурные препоны (Аксаков, 1896: 17–24).

На протяжении 1860-х — первой половины 1870-х годов «славянское» движение имело весьма ограниченное влияние — славянское благотворительное общество, основанное в 1858 году (с 1877 г. — комитет), привлекало немногих энтузиастов, «славянский отдел» в аксаковском «Дне» существовал исключительно как отражение взглядов издателя, не встречая интереса у публики. Так, повествуя об успехе своего издания у публики, И.С. Аксаков писал М.П. Перовскому 4.XI.1861: «Газета моя имеет успех положительный... и читается нарасхват: читается даже Славянский отдел!» (Русская беседа, 2011: 438). В глазах правительства «славянское» движение внутри страны и связанные с ним внешнеполитические возможности были удобным инструментом, могущим быть при случае эффективно использованным для реализации своих целей в османских делах или как средство воздействия на Австрию (Австрия проводила в некоторой степени аналогичную политику в отношении поляков и украинцев). Так, при всех симпатиях общества к болгарам в ходе греко-болгарской церковной распри правительство воздержалось от поддержки «славян», предпочтя не вставать однозначно на сторону какого-либо одного из участников церковного раскола.

Национальное движение показало свою силу в 1876–1877 годах, когда, используя влияние при дворе для получения разрешения на публичную пропаганду своих взглядов, сумело фактически втянуть империю в войну с Турцией, несмотря на сопротивление практически всех членов правительства. Тем самым впервые была продемонстрирована возможность быстрой мобилизации общественного мнения и его политическое влияние (Милютин, 2009; Валуев, 1919: 5–10). Неожиданно тяжелый ход войны и воспринятый как «позорный» Берлинский трактат убедили высшую власть в том, что национальное движение является не таким уж удобным объектом управления и его цели могут радикально расходиться с направлением правительственной политики. Непривычный опыт взаимодействия с общественным мнением вызвал и неоправданно резкую реакцию на выступление Аксакова против Берлинского трак-

тата, когда не только сам Аксаков был подвергнут высылке (что еще укладывалось в традицию и ожидалось самим виновником событий), но последовало и закрытие Славянского комитета в Москве (Никитин, 1960). Опыт Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и последующих балканских событий, с одной стороны, надолго избавил правительство от соблазнов использовать «славянскую карту» в масштабной имперской политике (Половцев, 2005: 407; Милютин, 2009), с другой — подорвал влияние остатков славянофильства при определении конкретной программы правительственных действий в условиях националистического поворота 1880-х годов (Тесля, 2011в).

Style Russe

1880-е приносят новую «повестку дня», когда центральными оказываются противоречия в рамках националистических программ и способы сопряжения имперской и национальной политики. Они не снимают рассмотренных проблем, однако переводят их обсуждение в качественно иной формат, что выражается в характерном, радикально отличном от предшествующего, облике эпохи Александра III.

Царствование Александра III на первый взгляд может представляться «золотым веком» русского консерватизма и русского националистического движения. Все внешние признаки налицо: подзабытая за 1860–1870-е годы формула «православие, самодержавие, народность» была восстановлена в своих правах, с либеральными реформами после недолгого колебания было покончено, министерские назначения служили символом готовности действовать без оглядки на общественное мнение. Один облик нового императора уже служил готовой программой — борода (которую он получил право носить как участник Русско-турецкой войны 1877–1878) в рамках семиотики бытового поведения была сама по себе много значащим знаком¹¹, перемены в форме¹², настойчивое использование в общении только русского языка¹³; грубость в обращении интерпретировалась благожелательными наблюдателями как патриархальная простота нравов. На смену отцовскому «сценарию любви» Александр III предложил «сценарий силы», начиная с самого банального — силы физической, подчеркивая собственные данные как проявление природной мощи, чему, правда, вскоре стала препятствовать рано наступившая избыточная полнота. Если образ «России сосредотачивающейся» предложил Горчаков за два десятилетия до воцарения Александра III, то последний придал этому образу художественную убедительность. Лев Тихомиров в конце жизни вспоминал: «Император Александр III умел вызвать в России высокий подъем национального чувства и сделаться представителем национальной России.

11. Можно вспомнить хотя бы борьбу московского губернатора Закревского с бородами славянофилов в конце 40-х годов, когда отпущенная борода была знаком высочайшей дерзости. борода, подобно свитеру 60-х годов уже прошлого столетия, указывала на неформальность — до 80-х годов ее мог позволить себе отпустить только человек не служащий (и, отпуская ее, расстающийся с надеждами на казенную службу, становясь «лицом подозрительным»).

12. Каждое царствование имело свой стиль и собственную моду — по смене покроя мундира можно было судить о программе предстоящего царствования.

13. Характерна раздраженная реакция Ламздорфа в его ведшемся по-французски дневнике на требование императора, чтобы отныне дипломатические депеши писались на русском языке (что стало существенной трудностью для космополитичного интернационала МИДа) (Ламздорф, 1926: 62).

Он достиг также упорядочения государственных дел. Не изменяя *образа* правления, он сумел изменить *способ* правления, и страна при нем стала с каждым годом сильнее развиваться и процветать. При таких условиях в революцию никто не хотел идти» (Тихомиров, 2000: 460).

Консервативный лагерь (при всей неопределенности данного термина) встретил воцарение Александра III как новую надежду — в тот момент, когда, казалось бы, всякие надежды приходилось уже оставить. В конце 1870-х общественная атмосфера была практически безраздельно захвачена либеральными настроениями разной степени крайности и определенности — и высшая бюрократия не составляла здесь исключения. В ситуации после 1 марта продолжение прежнего курса представлялось безальтернативным — если бы не решительные действия Победоносцева, сумевшего убедить молодого монарха в возможности следовать «собственной воле». Начавшийся поворот был ознаменован внешне бессмысленным апрельским манифестом, означавшим отказ от «политики уступок обществу».

Первые годы царствования Александра III обратились в «медовый месяц» русского консерватизма — самые разнообразные силы правого толка на тот момент были едины в необходимости разорвать с непоследовательной политикой предшествующего царствования, подавить революционное движение, «умиротворить» страну. Но к 1883–1884 годам единство консервативного лагеря оказалось разрушено: в 1883 году закончилось «тактическое единomyслие» Аксакова с Катковым, в 1884 радикально испортились отношения двух столпов правительственного консерватизма — Победоносцева и Филиппова (Пророки, 2012: 272), разлад между Победоносцевым и Аксаковым случился еще в 1882 году (Полунов, 2010: 181, 245). Происшедшее, разумеется, совершенно неудивительно — единство консервативного лагеря основывалось исключительно на «негативной повестке». Когда она была в целом реализована, встал вопрос о выборе дальнейшего пути. Возникла потребность в позитивной программе и оказалось, что русский консерватизм представляет из себя даже более пестрое и сложное явление, чем либеральный лагерь.

Собственно, в нем почти сразу выделились три направления, первоначально объединенные тактическим союзом.

Первое направление, которое условно можно назвать «бюрократическим» консерватизмом, серьезного интереса не представляет. Оно было ориентировано на идеализированный и подретушированный образ николаевского царствования, сворачивая прежние реформы там, где они ограничивали возможности административного вмешательства (земства, университеты и т. п.), но не располагая никакой программой дальнейших действий.

Намного более интересен «религиозный консерватизм», видной фигурой которого стал популярный в кругу иерархов Русской православной церкви Третий Иванович Филиппов (популярность и слухи о его кандидатуре как возможного патриарха стали одним из препятствий к занятию им поста обер-прокурора Священного синода). Для данного крыла православие было важнее, чем государство, — целью мыслилось «освобождение Церкви», избавление от «Феофанова» наследия¹⁴, возрождение

14. Имеется в виду синодальный строй церкви, установление и обоснование которого связано с фигурой Феофана Прокоповича.

России как «православного царства». Сама же реформа церкви, проговариваемая как возвращение к каноническому устройству, предполагала ставку на высших церковных иерархов — в отличие от славянофильских представлений о необходимости приходской реформы.

Третье направление, «националистическое», в свою очередь, было представлено двумя основными программами: катковской и аксаковской. Они кратко уже были рассмотрены выше, однако с 60-х годов произошли довольно существенные изменения, коснувшиеся в первую очередь аксаковской программы. Для Аксакова в 60-е годы речь шла о формировании нации на основе конфессионального принципа, что позволяло говорить о большой «русской» нации, включавшей велико-, мало- и белоруссов. Однако развитие местных национализмов, с одной стороны, и явное ослабление конфессионального принципа, с другой, сделало к 1880-м годам эту программу явно нереалистической — конфессиональная идентичность на глазах утрачивала свою определяющую роль, а альтернативы ей в аксаковской схеме не предвиделось.

Для аксаковского видения национальной программы решающую роль имело общество — именно оно должно было стать активным субъектом, собственно, ядром нации. При всей противоречивости суждений Аксакова его подход оставался принципиально либеральным — минимальное государство с развитием земщины; общество, осуществляющее свое давление на власть не путем конституционных гарантий, но через «власть мнения» — в лице Земского собора, свободной прессы и т. д. (Тесля, 2011в).

Напротив, катковское видение нации предполагало последовательную реализацию «наполеоновской программы»¹⁵: правительство, действующее в режиме «популярной диктатуры», формирование национального единства как единства культурного, правового и экономического (активная русификаторская школьная политика, формирование единого экономического пространства, «железные дороги», долженствующие сплотить «Великую Россию», как они создали единство «Прекрасной Франции»¹⁶) (Санькова, 2007).

Земский собор, созыв которого обсуждался в 1881–1882 годах, должен был, с точки зрения представителей «славянофильского лагеря», дать возможность обществу консолидироваться перед лицом власти, а власти получить опору в лице общества¹⁷. Вряд ли продуктивно обсуждать, чем могла бы на практике обернуться подобная инициатива властей, но в 1882–1883 годах выбор был сделан в пользу катковской про-

15. Политическое мировоззрение Каткова, хоть и ориентированное на Англию (его англоманство стало поводом для многочисленных анекдотов), было определено действиями Наполеона III, впрочем, ставшего для всей эпохи символом политической успешности, замешанной на циническом реализме (в последующем в культурном сознании эта фигура будет вытеснена образом Бисмарка: успех ученика и финальная неудача учителя определили веки «исторической памяти»).

16. Отсюда же, кстати, вытекала последовательная ассимиляторская позиция Каткова по «еврейскому вопросу»: он настаивал на гражданском равноправии, расходясь в этом с большей частью коллег по консервативному и националистическому лагерю, для которых антисемитизм (быстро трансформирующийся из религиозного в расовый) был характерен наряду с антикапиталистическими настроениями (Катков был чужд и последним) (Миллер, 2006: гл. 4).

17. Отметим попутно, что славянофильские настроения были популярны среди земства вплоть до начала XX века (Соловьев, 2009).

граммы. На практике, однако, она обернулась политикой агрессивной русификации, скорее стимулируя местные национализмы, чем достигая поставленных целей¹⁸: русифицировать и формировать русскую нацию взял на себя государственный аппарат. Обществу отводилась одна функция — одобрять и поддерживать; даже те общественные группы, что придерживались консервативных и националистических позиций, оказывались неудобны — власть полагала, что она нуждается в исполнителях, а не в союзниках. История консервативной прессы весьма характерна в этом отношении: «Московские ведомости» после смерти Каткова быстро превратились в глухой официоз; «Русское дело», которое затеял издавать Шарапов после прекращения со смертью Аксакова «Руси», претерпело череду цензурных мытарств; «Современные известия», также удостоенные цензурного чистилища, закрылись со смертью Гилярова-Платонова; относительную свободу суждений (впрочем, весьма сомнительной ценности) консервативного толка мог себе позволить только «Гражданин», опирающийся на личные связи князя Мещерского с государем. «Русское обозрение», которое князь Цертелев пытался обратить в широкую площадку для высказывания правых идей, выродилось в очередной официоз, избегающий любых «рискованных идей», после вынужденного ухода редактора, которого сменил А.А. Александров, «правильными» взглядами испугавший денежную нечистоплотность.

Разочарование в контрреформах, ясно обнаружившееся в 1890-е годы (Котов, 2010: 208-217), приводит к попыткам сформулировать программу действий, учитывающую новые социальные силы. Характерны интерес Л.А. Тихомирова к рабочим объединениям (Репников, 2011: гл. IX), рассуждения С.Ф. Шарапова о диктаторе как фигуре, посредствующей между императором и народом, в обход и «бюрократии», и общества (Тесля, 2012). В подобного рода программах справедливо отмечают сходство с итальянским фашизмом (Репников, 2011: 328–329). Объясняя замысел романа «Через полвека» (1902), Шарапов писал:

«Я хотел в фантастической и, следовательно, довольно безответственной форме дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов, изобразить нашу политическую и общественную программу как бы осуществленной. Это служило для нее своего рода проверкой. Если программа верна, то в романе чепухи не получится, все крючки на петельки попадут. Если в программе есть дефекты принципиальные, они неминуемо обнаружатся...

Я очень хорошо знаю, что ничего подобного не будет. Я хотел только показать, что бы могло бы быть, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе и в правящих сферах» (Шарапов, 2011 [1902]: 308).

Однако нарисованная им фантазия оказывается на удивление узнаваемой, в итоге напоминая изображение советского общества в соцреалистическом романе или, скорее, итальянский фашизм: общество разделено на небольшие общины-*fascio*, основанные, правда, на приходском делении, политические права увязаны с вероисповеданием (и тем самым не входящие в приход оказываются лишены политических прав), община контролирует практически всю жизнедеятельность граждан, что

18. И у самого Каткова за пределами национальной политики последовательной программы действий не было — с этим связано восторженное принятие им статьи Пазухина, в лице которого он обрел готового идеолога внутренней политики (Феоктистов, 1991: 242–243).

особенно удобно в силу того, что все их средства зависят от приходской кассы. Империя раздвинулась до линии «бывший Данциг, ныне Гданьск» до Адриатики, подчинив себе всю Восточную и часть Центральной Европы. Во главе империи, оттеснив царя, стоит вождь, которого персонажи именуют не иначе как «гениальный Федот Пантелеев», так что «гениальный», надо понимать, является его неофициальным «титлом»: «простой, маленький дворянин, совершенно незнатный. Он сидел у себя в деревне, в Саратовской губернии, и появился в Петербурге довольно неожиданно... Волна выдвинула его на пост министра, и за несколько лет до последней великой европейской войны реформы в России были закончены» (Шарапов, 2011 [1902]: 364). «Его пожаловали государственным канцлером, и он в виде особой милости просил Государя никого не назначать на его место, а самое министерство упразднить, создав для полиции особое Управление государственной безопасности... Сейчас ему около 70 лет, но он совершенно здоров и бодр и работает неутомимо». Характерна и приблизительность возраста «гениального Федота Пантелеева» (ему «около 70»), и сама власть его вождистского типа, устраняющая институты; примечательным образом, вопреки собственному монархизму, Шарапов в «фантастическом политико-социальном романе» умудряется практически устранить фигуру монарха, которая тусклым фоном присутствует за «гениальным Федотом», навевая устойчивые ассоциации с Виктором Эммануилом III.

Подобная мечта о диктаторе, вынесенная в заголовок, наложена на текущие события 1907 года в «политической фантазии», где Иванов 16-й, никому не известный полковник, становится полновластным властителем государства — причем, удивительным образом, не отменяя существующей иерархии, сохраняя на своем месте председателя Комитета министров, которым так и остается П.А. Столыпин — его власть опять же покоится на экстралегальных основаниях, выстраиваясь не столько «над», сколько «помимо» существующих властей и институций.

Как будто замыслив поиронизировать над «историей будущего», Шарапов описывает и унижающе-высмеивающие наказания политических противников (Шарапов, 2011 [1908]: 535), отсылающие к пугающей карнавальности первых дней после «похода на Рим», проектирует лагеря для инакомыслящих с принудительными работами, отводя им место под Семипалатинском (Шарапов, 2011 [1907]: 401–402), сочетая с карательной психиатрией: «ореол героя заменяется простой смиренной рубашкой» (Шарапов, 2011 [1907]: 401). Патронирующее государство подменяет «самовольные» рабочие союзы: «Прочь все эти ваши союзы, профессиональные организации и прочее! Интересы рабочего должны и будут защищать закон и правительство, а не разные проходимцы, которые вкрадываются в ваше доверие и бунтуют вас. Есть заводчики своекорыстные, желающие эксплуатировать рабочего. Единственное от них ограждение рабочего — закон. Закон должен обеспечить и рабочие часы, и безопасность рабочего, и охрану его здоровья, и хорошую квартиру, и пищу, и страхование от несчастий, и школу детям, и пенсию на старость. Закон, и никто другой, должен обеспечить полную свободу как предпринимателю, так и рабочему. Я считаю стачки рабочих столь же недопустимыми, как и всякие синдикаты хозяев, союзы и локауты. И я твердой рукой водворю у вас законность, и первые же рабочие скажут за это спасибо» (Шарапов, 2011 [1907]: 407–408; см. далее аналогичное обращение к фабрикантам).

Утопия «Диктатора» заканчивается фактически саморазоблачением — славянофилы, которых созывает Иванов 16-й, отрекаются от его программы, диктатор оказывается бессильным, неспособным найти даже нескольких сотрудников-подручных. Шарапов максимально приближается к программе будущей «консервативной революции», но между ним и ею остается пропасть — воображаемый диктатор, действуя помимо государственных институций, в то же время не имеет опоры в массовом движении, более того, разгоняя Русское собрание и Союз русского народа, фактически оказывается одиночкой, обреченной бессильной фигурой:

«Какой-то лазарет, какое-то кладбище, а не живая и бодрая страна! Но — прочь уныние! Вы заставляете меня действовать в одиночку, вы на меня одного валите всю работу, — хорошо, будем работать в одиночку!

— Министр внутренних дел, — доложил адъютант.

— Просите, просите...» (Шарапов, 2011 [1908]: 567).

Утопией у Шарапова оказывается то, что осталось от славянофильства, от образа «прошлого», собственно, никогда не бывшим прошлым Шарапова, им вычитанным-придуманым — «отцов из сытых дворян с басовым смехом в хороших широчайших шубах и вязаных шарфах» (Шарапов, 2011 [1896]: 599–600), бывших дворянской аркадией, мечтой, которую он в себе культивировал. Однако русские националистические движения вплоть до революции 1917 года оставались вне «политики масс» — немногочисленные опыты подобного рода, вроде предпринятого Союзом русского народа, так и остались неудачными и не вполне осознанными экспериментами: только опыт большевиков научит европейских правых (в том числе и русскую эмиграцию) роли масс и породит европейский фашизм¹⁹.

Впрочем, итоги националистической политики правления Александра III, в основных чертах продолженные, насколько это было возможно в меняющихся условиях, и его наследником (до 1905 г.), далеко не столь однозначны. Образ нации, созданный государственной пропагандой в 1880–1900-е годы, стал фактическим основанием сталинского «национал-большевизма»: начиная от иконографии и заканчивая узнаваемыми риторическими оборотами (Бранденбергер, 2009). В эту эпоху национальный проект впервые вышел за пределы «образованного общества» (где соревновались

19. Отметим изменившуюся тональность националистического дискурса — если в 1860–1880-е он выступает с позиции «силы», то теперь для него характерно подчеркивание «слабости», то, что ранее осмыслялось как проблемы, теперь видится в качестве угроз: катковский «национализм сильных» становится меньшевистским «национализмом слабых», апеллирующим к социал-дарвинистскому видению социальной реальности и говорящий о национальной политике в терминологии «выживания» и «самообороны в условиях крайней необходимости».

В этой связи меняется и статус «еврейского вопроса» — если в 1880-е он занимает существенное место преимущественно в публицистике И. Аксакова, да в статьях Гилярова-Платонова (у последнего в специфическом сочетании обновленного христианского антииудаизма и антикапиталистической риторики), то в 1890–1900-е антисемитизм оказывается практически всеобщей установкой представителей националистического крыла: «еврейский вопрос» позволяет собрать воедино антикапиталистическую направленность и конфессиональные основания национальной идентичности, выступая эффективным способом вовлечения масс. Показательно, что в наибольшей степени антисемитизм свойственен именно тем направлениям русского национального движения, которые пытались работать в рамках становящейся массовой политики.

программы 1860-х годов), сформировалась националистическая пропаганда и первые контуры национального воспитания, обращенного к широким массам, которым была отведена решающая роль уже в XX веке.

Литература

- Аксаков И.С. (1896). Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 2: Письма к разным лицам. Т. 4: Письма к М.Ф. Раевскому, к А.Ф. Тютчевой, к графине А.Д. Блудовой, к Н.И. Костомарову, к Н.П. Гилярову-Платонову. 1858–1886 гг. Санкт-Петербург: Императорская публичная библиотека.
- Аксаков И.С. (1988). Письма к родным. 1844–1849 / изд. подготовила Т.Ф. Пирожкова. Москва: Наука.
- Борисёнок Ю.А. (2001). Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы. Москва: Российская политическая энциклопедия.
- Бранденбергер Д.Л. (2009). Национал-большевизм: сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.) / пер. с англ. Н. Алешина и Л. Высоцкого. Санкт-Петербург: Академический проект; ДНК.
- Валуев П.А., гр. (1919). Дневник. 1877–1884 / под ред. В.Я. Яковлева-Богучарского, П.Е. Щеголева. Прага: Былое.
- Виттекер Ц.Х. (1999). Граф С.С. Уваров и его время / пер. с англ. Н.Л. Лужецкой. Санкт-Петербург: Академический проект.
- Вишленкова Е.А. (2011). Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». Москва: Новое литературное обозрение.
- Долбилов М.Д. (2010). Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. Москва: Новое литературное обозрение.
- Захарова Л.Г. (2011). Александр II и отмена крепостного права в России. Москва: Российская политическая энциклопедия.
- Зорин А.Л. (2004). Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. Москва: Новое литературное обозрение.
- Империя и нация в зеркале исторической памяти. (2011) / под ред. И. Герасимова, М. Могильнера, А. Семенова. Москва: Новое издательство.
- Комзолова А.А. (2005). Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. Москва: Наука.
- Котов А.Э. (2010). Русская консервативная журналистика 1870–1890-х годов: опыт ведения общественной дискуссии. Санкт-Петербург: СПбИГО; Книжный Дом.
- Ламздорф В.Н. (1926). Дневник В.Н. Ламздорфа (1886–1890) / под ред. Ф.А. Ротштейна. Москва; Ленинград: ГИЗ.
- Лемке М. (1904). Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. Санкт-Петербург: Книгоиздательство М.В. Пирожкова.
- Миллер А.И. (2000). Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). Санкт-Петербург: Алетейя.
- Миллер А.И. (2006). Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение.
- Милютин Д.А. (2009). Дневник. 1876–1878 / под ред. Л.Г. Захаровой. Москва: Российская политическая энциклопедия.

- Никитин С.А. (1960). Славянские комитеты в России в 1858–1876 годах. Москва: Изд-во МГУ.
- Очерки русской культуры XIX века. Т. 4: Общественная мысль. (2003). Москва: Изд-во МГУ.
- Парсамов В.С. (2010). Декабристы и Франция. Москва: РГГУ.
- Пирожкова Т.Ф. (1997). Славянофильская журналистика. Москва: Изд-во МГУ.
- Половцев А.А. (2005). Дневник Государственного секретаря. В 2 т. Т. 2. Москва: Центрполиграф.
- Полунов А.Ю. (2010). К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Москва: Российская политическая энциклопедия.
- Пророки Византизма: переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891). (2012) / сост. О.Л. Фетисенко. Санкт-Петербург: Пушкинский Дом.
- Пресняков А.Е. (1991). Воспоминания Е.М. Феоктистова и их значение // Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы (1848–1896). Воспоминания. Москва: Новости. С. 5–12.
- Проскурин О. (2000). Литературные скандалы пушкинской эпохи. Москва: ОГИ, 2000.
- Проскурина В. (2006). Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. Москва: Новое литературное обозрение.
- Репников А.В., Милевский О.А. (2011). Две жизни Льва Тихомирова. Москва: Academia.
- Россия под надзором. Отчеты III отделения. 1827–1869. (2006) / сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. Москва: Российский фонд культуры; Российский архив.
- «Русская беседа»: история славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись. (2011) / под ред. Б.Ф. Егорова, А.М. Пентковского и О.Л. Фетисенко. Санкт-Петербург: Пушкинский Дом.
- Санькова С.М. (2007). Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков как идеолог государственного национализма: историографический аспект. Санкт-Петербург: Нестор.
- Соловьев К.А. (2009). Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности 1899–1905 / отв. ред. В.В. Шелохаев. Москва: Российская политическая энциклопедия.
- Тесля А.А. (2011а). «Польский вопрос» и проблема «гражданской нации» в публицистике М.Н. Каткова 1863 г. // Молодые ученые — Хабаровскому краю: Материалы XIII краевого конкурса молодых ученых и аспирантов (Хабаровск, 14–25 января 2011 г.). В 2 т. Т. 1. Хабаровск: Изд-во ТОГУ. С. 297–301.
- Тесля А.А. (2011б). Славянофильское направление в начале 60-х годов XIX века // Актуальные проблемы российской философии: Межвузовский сборник научных трудов (по материалам Всероссийской научной конференции [Пермь, 29–30 сентября 2011 г.]). В 2 т. Т. 1. Пермь: Изд-во ПГНИУ. С. 298–305.
- Тесля А.А. (2011в). Этапы истории славянофильства в контексте исследований национализма // Вестник ТОГУ. 2011. № 3. С. 207–216.
- Тесля А.А. (2012). Эпигон славянофильства: логика распада (С.Ф. Шаратов) // «София»: Философский альманах. Вып. III. (В печати.)
- Тихомиров Л.А. (2000). Тени прошлого / сост. М.Б. Смолина. Москва: Изд-во журнала «Москва».
- Феоктистов Ф.М. (1991). За кулисами политики и литературы (1848–1896). Воспоминания. Москва: Новости.
- Шаратов С.Ф. (2011). Россия будущего / сост. А.Д. Каплина; отв. ред. О.А. Платонов. Москва: Институт русской цивилизации.

Шенрок В. (1901). П.А. Кулиш. Биографический очерк. Киев: Типография Императорского университета св. Владимира.

Яси О. (2011). Распад Габсбургской монархии / пер. с англ. О.А. Якименко. Москва: Три квадрата.

Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). (2010) / под ред. М. Ауста, Р. Вульпиус, А.И. Миллера. Москва: Новое литературное обозрение.